

ПРОЛОГ



Холод обжигает меня. Прежде чем ледяные воды реки смыкаются над головой, я успеваю набрать воздуха в легкие. И погружаюсь в темный омут.

Пытаюсь разглядеть хоть что-то в этой впавшей в зимнюю спячку тьме. Пальцев уже не чувствую, хотя прошло лишь мгновение — секунда, превратившаяся в вечность, в зацикленный эпизод последнего трагического действия, главные роли в котором отданы нам. Мне и тонущей Даньел.

Вот она, рядом со мной, словно повисшая на нитях кукла-марионетка. Одно движение хозяина — и кислород выпорхнет из нее ускользающими вверх пузырьками. Глаза ее расширены от ужаса, как и мои собственные; руки судорожно хватают пустоту. Но вес воды так тяжел, что нас обеих камнем утягивает на дно.

Еще вчера мы готовы были свернуть друг другу шеи. Но сейчас, в объятиях ледяной реки, мы обе желаем лишь

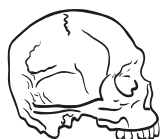


одного — спастись. Дэнни смотрит на меня и беззвучно кричит, глотая воду. Одна рука успевает ухватиться за рукав моей блузки, но затем отпускает, не в силах удержать. Веки Дэнни начинают смыкаться, словно сон наконец одолел ее. Разве не этого я хотела? Увидеть, как испустит последний вздох та, что уничтожила мою жизнь?

Мой бывший друг. Мой мстительный враг.

Должна ли я спасти тебя, Даньел?





I

ЭРИНИИ

Месяц назад



У всех есть темные пятна в прошлом, которые невозможно стереть. А некоторые невозможно скрыть, являя всему миру вопиющее уродство.

Такие грехи мы носим, точно алые буквы, вышитые на груди. Они как напоминание, предупреждение для остальных, чтобы нас обходили стороной и бросали в спину насмешки, не давая забыть о несмываемом позоре. Если такое вообще забывается.

Ах, если бы можно было, как в старину, купить пару-тройку индульгенций и облегчить душу от тяжести прегрешений! Но, в отличие от великодушной церкви, миряне не спешат прощать чужие ошибки. И пока одни брезгливо сторонятся, другие берут в руки кнут.

И никакие индульгенции тут не помогут. Не спасут от холодных глаз Даньел Лэнфорд, в которые я смотрю — и вижу в отражении не себя, а лишь тени прошлых ошибок. Грехов, которые она и не думает мне отпустить.



Потому что отпустить можно лишь те грехи, в которых раскаялись.

— Ты ведь знаешь, что в Уэст-Ривере везде есть мои уши, правда, Би?

В ее голосе — лязг металла. Конечно, я осведомлена о том, что за мной неустанно следят, донося о каждом неосторожном шаге. Я замечаю клочок бумаги, торчащий из кармана синего форменного пиджака Даньел.

«Директору Остину Хайтауэру...»

Получаю резкий толчок в грудь. Лицо Даньел перекошено злостью из-за моего молчания. Мэй Лин подзуживает подругу, трогая за острый локоток.

— Ты думала, что так легко покинешь Уэст-Ривер? — Даньел издевательски щурится, ее лицо кажется позеленевшим в отсветах стен туалетной комнаты. — Просто настучишь на нас Хайтауэру и тебя тут же заберут?

Мэй Лин скептически фыркает и ковыряет под ногтем.

Я мотаю головой, уверяю, что не понимаю, о чем она говорит, но мне не верят. В ответ Даньел вынимает из кармана свернутый вчетверо мятый лист, на котором отчетливо проступает мой почерк. Теперь не отвертеться.

— Это нашли в твоем столе, Би. Все еще хочешь врать мне?

«...от мисс Беатрис Беккер, учащейся выпускного класса “бета”. В связи с участвовавшими случаями издевательств от сверстников прошу...»



Мэй Лин гаденько улыбается, пока я ломаю голову, кто меня сдал. Кто-то из ее подружек-фрейлин прокрался в мою комнату? Неужели Ханна, соседка, рылась в моих вещах?.. Оставив прошение



вылеживаться и дозревать в ящике стола, я совершила ошибку и подставила себя под удар. Вот же дура.

— Нет, дорогая, так просто ты отсюда не уедешь. Ты будешь здесь, с нами. Если тебя заберут, с кем нам играть?

«...прошу отстранить меня от занятий и сообщить моему опекуну, мисс Мариетте Чейзвик...»

Даньел, ласково прозванная друзьями Дэнни, показательно рвет черновик моего прошения на мелкие кусочки, а затем бросает в унитаз. Мэй Лин довольно тарашит-ся на меня, но мой взор устремлен ей за плечи, туда, в узкое оконце, за которым виднеется территория кампуса. Ученики Уэст-Ривера беззаботно прогуливаются по вытоптаным тропинкам, обедают под сенью большого дуба, обмотавшись шарфами. Их жизнь идет своим чередом. Они знать не знают, что меня ждет.

Нам твердят, что мы здесь одна семья и должны заботиться друг о друге. Но на деле всем наплевать. Даньел страстно не желала меня отпускать, но это отнюдь не было проявлением дружеской поддержки, к которой нас призывали. Я лишь девочка для битья. Удобная боксерская груша.

Когда-то мама сказала: «Лишь раз дай свободу своей ненависти, и ее будет не остановить». Даньел и ее прихвостни не просто дают свободу ненависти — они возводят ее в абсолют. В застенках академии, в стороне от любопытных глаз, они творят настоящие злодеяния, и главной их жертвой значусь я. И, если я исчезну, кто же станет терпеть эти муки? Этого Дэнни допустить не может никак.

«...о случаях насилия, совершенных над мной Даньел Лэнфорд, Мэй Лин, Сэйдлин Джонс и Честером Филлипсом...»





Ох, Дэнни. Это прошение не помогло бы мне вернуться домой. Потому что у меня нет дома в привычном смысле слова, как нет и родителей, которые приедут меня забрать. Опекунша, тетя Мариетта, ни за что не допустит, чтобы я вернулась в ее имение и мешалась под ногами, как вертялая собачонка. Ей куда приятнее держать меня здесь, точно на цепи, вдали, и как можно дольше не отягощать свою жизнь. Мое прошение было жестом слепого отчаяния, последней соломинкой, за которую я ухватилась. Но я едва ли рассчитывала, что кто-то протянет мне руку помощи.

Даньел это словно не убеждает, хотя ей все известно. Ей хочется гарантий, что никто не узнает о ее преступлениях и не оспорит непогрешимый образ звезды Уэст-Ривера. Она нажимает кнопку смыва, и мои мольбы уносятся в никуда.

«Прошу также принять меры против указанных лиц и довести информацию до их родителей, иначе...»

Когда бачок пустеет, Даньел резко разворачивается, хватая меня за запястья и скручивает их так, что хрустят мои тонкие кости.

— Мэй, запри дверь!

Фрейлина Мэй в мгновение ока подлетает к входной двери и задвигает щеколду. Я в ловушке. В их полной власти.

Мэй Лин у двери не задерживается и присоединяется к отвратительной задумке Даньел. Она подскакивает со спины и, не давая мне вырваться и отпрыгнуть, толкает прямоком в туалетную кабинку.



«...иначе я, Беатрис Беккер, буду вынуждена подать иск в суд и требовать соответствующего наказания и возмещения морального ущерба».



Меня силой ставят на колени, голова окунается в унитаз. В ноздри набивается несвежая вода, воздух пузырями ускользает из легких, меня охватывает животный ужас. Рука Даньел держит за шею крепко, натренированная игрой в сквош и теннис. Но игры с моей жизнью куда интереснее, чем приевшиеся развлечения богачей.

На секунду хватка ослабевает, и мне позволяют вынырнуть, даруют спасительный вдох.

— Если ты еще хоть раз попробуешь написать что-то подобное и положить на стол Хайтауэру, так легко не отделаешься, дрянь.

Плевок. Слюна Дэнни растворяется в туалетной воде, и меня окунают снова. Высший акт унижения, хуже только оказаться раздетой на глазах у публики. Руки Даньел и Мэй отпускают меня, и я задираю голову, вдыхая воздух, слаще которого теперь сложно вспомнить. По волосам, одежде струится вонючая вода, а до слуха доносится быстрый топот ног — мои истязательницы уходят, едва опережая прогремевший звонок.

Звон тает за оглушительным стуком крови в ушах. Я безвольно сажусь на мокрый пол, опершись спиной о перегородку кабинки, и даже не нахожу сил заплакать. Внутри простирается пустота.

«...прошу отстранить меня от занятий и сообщить моему опекуну, мисс Мариетте Чейзвик, о случаях насилия, совершенных надо мной Даньел Лэнфорд, Мэй Лин, Сэйдлин Джонс и Честером Филлипсом...»

Горькая правда исчезает в недрах канализации, так и не дойдя до главы академии. Мои мольбы не будут услышаны Богом, не будут получены директором. И уж тем более никогда они не достигнут тети Мариетты.





Я все еще здесь, в Уэст-Ривере — образцовой академии графства Ланкашир. Академии, воспитавшей жестоких чудовищ, которые однажды погубят меня.

Если я не найду способ их одолеть.



«Почему?»

Я часто задаю себе этот вопрос. И всякий раз у него новое продолжение:

«Почему это началось?»

«Почему никто не видит?»

«Почему они меня не оставят?»

«Почему я все это терплю?»

«Почему...»

Сидя на эркерном подоконнике облюбованного пыльного чердака и глядя с высоты на муравьев-людюшек, снующих туда-сюда по территории кампуса, я задаюсь созвучными вопросами и сама же отвечаю на них. Пытаюсь отвлечься стихами Кристины Россетти, но ее печальная песнь, звенящая в каждой строчке, только сильнее волнует меня и отсылает к укоренившейся в груди боли. Упрямое «почему» перебивает поэтическую мелодию натужным скрежетом, скрипом двери в благоговейной тиши.

Один вопрос повисает в воздухе без ответа, потому что я боюсь узнать правду. Боюсь, что ответ меня разрушит и лишит надежды, на которую я все еще уповаю.

«Почему я все это терплю?»



Может, потому что я заперта здесь, в стенах Уэст-Ривера? Академия держит меня в своей выложенной мрамором тюрьме с дозволения мисс Чейзвик, и покуда тетя не переменит настроения, окопы с меня не падут.



Все начало прошлых рождественских каникул я с завистью провожала взглядом счастливых учеников, спешащих к машинам с личными водителями, которые увозили их в роскошные имения, загородные виллы или напрямик в аэропорт — их ждали лавандовые поля Франции или жаркие греческие пляжи. И вместо того чтобы, подобно этим молодым умам, путешествовать по Европе или островам, я путешествовала по ссылкам в интернете, где и натыкалась на свежие селфи одноклассников с видом на пальмы или итальянские базилики. Я ютилась на чердаке (ключ от которого выкрала однажды у зрителя Барри Роуча) в обнимку с книгами и учебником по французскому, заточенная до лета во чреве Уэст-Ривера без права хоть ненадолго вырваться из затхлых стен и сделать глоток свежего воздуха во внешнем мире.

Здесь же мир был столь невелик, что ограничивался увитым паутиной чердаком, выложенными сверкающей плиткой коридорами, обитой бархатом гостиной и готической библиотекой с винтовыми лестницами. Пока одноклассников ласкало солнце где-нибудь на Санторини, я скиталась по Уэст-Риверу, как призрак, заглядывала в пустующую без учеников комнату отдыха, распивала чай в столовой, где образовавшаяся тишина давила и угнетала. Иногда я сталкивалась там с Барри Роучем и болтала о всякой ерунде от скуки. Однажды я предложила ему сыграть партию в шахматы, но он не знал, как ходят фигуры, и понятия не имел, что такое «дебюты». Я научила его основам, но все чаще играла в одиночестве, воюя против себя самой же. На моей шахматной доске всегда побеждали белые, но за ее пределами все захватывала чернота одиночества.

Ветер за окном срывает последние листья и вращает их над землей. Я касаюсь холодного стекла пальцами и снова натыкаюсь взглядом на синяки





вокруг тонких запястий. Напоминание, о котором хочешь забыть, но не можешь. Даже когда следы расползутся на коже и исчезнут, я буду прокручивать воспоминания, как заевшую пластинку. Зацикленный акт трагедии, в которой жестокие фурии безнаказанно чинят расправу и упиваются сладостью мести.

Могла ли я противостоять этому злу? Всего пару месяцев назад я полагала, что сумею. Против желания я мысленно перемещаюсь в последнюю неделю августа, в имение тети Мариетты Чейзвик, где ежегодно провожу лето.

Меня обступает богато обставленная гостиная, от летнего ветерка с веранды позвякивают хрустальные подвески на люстре. Тетя сидит передо мной в бордовом кресле и выжидательно смотрит. Вместе с ней на меня смотрит и Вакх с репродукции Караваджо, висящей прямо за тетиной спиной. В его томной полуулыбке мне видится то ли издевка, то ли приглашение к праздной жизни, которую я понять неспособна.

С легким нетерпением тетя наполняет бокал и отпивает бренди.

— О чем же ты хотела поговорить, Беатрис?

Я снова чувствую, как потеют ладони, вижу, будто со стороны, как переминаюсь с ноги на ногу, никак не решаясь наконец признаться в страшном. Но холодный взгляд понуждает меня к ответу, и я выпаливаю:

— Хочу перевестись в другую школу.

Тетя и бровью не поводит, куда больше увлеченная распадом алкоголя на тона и полутона во рту, чем моим волеизъявлением.

— И чем же вызвано это желание?

Я нерешительно мнусь и гляжу под ноги.

— Тем, что в Уэст-Ривере я... В Уэст-Ривере надо мной издеваются.





Тетя Мариетта смотрит сквозь меня. Будто мои слова абсолютно пусты и ничего не значат.

— Дорогая, школа — это большой аквариум с пираньями, где тебе предоставляют выбор: ты либо становишься их добычей, либо поедает своих собратьев, чтобы выжить.

«Они избивают меня, тетя, — хочу я добавить, но язык немеет и не слушается. — Они забрали у меня все».

— Если ты позволяешь им кусать тебя, задевать своими мерзкими языками, значит, ты слаба и бесхребетна, — продолжает тетя, подливая себе бренди. — По-твоему, я должна потворствовать твоей слабости?

— Нет, тетя Мариетта, просто...

— Идя на поводу у своих капризов, ты рискуешь уронить достоинство! — грубо одергивает меня она. — Представь только, как это будет выглядеть, если ты с позором покинешь одну из самых престижных академий Соединенного Королевства! Неужели ты думаешь, что в новой школе что-то поменяется? Вот что я тебе скажу: не поменяется абсолютно ничего, покуда ты не отратишь в себе твердый стержень, юная леди. Перевод не решит твоих проблем, пока ты распускаешь сопли из-за кучки недоростков в острой стадии пубертата.

Мисс Чейзвик осушает бокал одним махом и звонко возвращает его на стеклянный столик, словно ставит жирную точку в нашем разговоре, который больше напоминает ее монолог.

Наружу так и рвется отчаяние, но я знаю, что тетя меня не услышит. Она непременно отыщет миллион аргументов, чтобы заточить меня обратно в башню Уэст-Ривера еще на годик, так стоит ли тратить время, разубеждая ее? Мои жалобы для нее не более чем пшик, всего лишь досадная мелочь, как муха на лобовом стекле.

Моя доля незавидна, а ситуация не так проста, как представляется тете, но в одном она права:





я растеряла свое достоинство. Оно растоптано каблучками моих дорогих эриний*, и мне дол́жно бы собрать его осколками, дабы выдержать последний год.

Скрепя сердце я киваю и говорю:

— Хорошо, тетя Мариетта, я больше вас не побеспокою этой просьбой. Я сама стану пираньей.

Тетя натянуто улыбается, являя мне высшую степень благосклонности. Наполняет новый бокал и поднимает его, до смешного становясь похожей на юного Вакха с картины на стене.

— Другое дело, дорогая. Захвати весь аквариум, Беатрис. Стань в нем королевой.



Стоит ли уточнять, что никакой королевой я и близко не стала? Разве что королевой-неудачницей. Пираньей с откушенным хвостом и беззубой пастью.

«Директору Остину Хайтауэру от...»

Не прошло и трех месяцев после разговора с тетей, как я, глотая слезы, снова и снова выцарапываю на бумаге позорное прошение на имя директора. Мысленно я адресую письмо и Мариетте Чейзвик, которую заверила, что все выдержу и не посрамлю имени. Где же моя храбрость, где выдержка?..

«...прошу освободить меня от занятий...»



* Богини мести и ненависти в древнегреческом эпосе. В римской мифологии — фурии.



Нет, все не так. Резким движением сминаю лист в ком и выбрасываю в мусорное ведро под столом. Бесполезно. Безнадежно. До тошноты трусливо.

Директору попросту нет до нас дела. Хайтауэру интересны лишь запах денег и престиж академии, который, несмотря ни на что, должен оставаться непогрешимым. Он и слушать меня не станет, сколько бумагу ни марай. Наш психолог, мистер Падалеки, с октября на больничном после операции, а значит, и он мне не поможет.

А затем меня осеняет. Амалия Хартбрук!

Уж наша чуткая хаусмистресс* не оставит меня в этой беде, правда? Ее задача — наблюдать за паствой и вести ее по праведному пути. Так не проще ли достучаться до той, чьи глаза не закрыты шорами?

Я вновь склоняюсь над бумагой и выписываю набившие оскомину слова, меняя только имя в начале прошения. И имя это разжигает во мне огонек надежды.

Позади хлопает дверь, и я машинально прячу листок в блокнот.

— Ну в столовке и очередь сегодня! Думала, пока доберусь до съестного, умру от голода. Будешь круассан? Ты какая-то бледная...

Ханна Дебики, соседка по комнате, окидывает меня любопытным взглядом, как будто знает, что совсем недавно произошло в женском туалете. Если она и ждет каких-то признаний или жалоб, то ничего не получит. Я еще не знаю точно, не ее ли руки копались в моем ящике, и потому не решаюсь посвящать во все подробности своих приключений.

* Педагог, присматривающий за учениками, решающий их бытовые проблемы и социальные конфликты. Хаусмистресс может руководить другим персоналом пансионата: охранниками, комендантами, экономками.





— Я не голодна, спасибо.

— Как знаешь, — говорит она, подергивая плечами, и впиивается зубами в круассан. Комната наполняется ароматом ванили, но даже он не соблазняет меня. Жуя, Ханна добавляет: — Представляешь, сегодня Дастин Мюррей чудом не спалился на уроке классической литературы — такой был обкуренный, просто вусмерть...

Она еще долго трещит, не умолкая, но мысли мои далеко, а в ушах — белый шум. Какое мне дело до Дастина, чья голова забита приличной дозой дури, когда есть проблемы куда значимее? Когда на кону стоит моя жизнь.

Перерыв окончен, а я даже не обедала, отдав все свободное время на бумагомарание. Жду, что желудок взвояет, требуя пищи, но он молчит. Кажется, за последние две недели я сбросила еще пару фунтов и скоро стану похожа на анемичное привидение. Я беру учебники и выхожу из комнаты.

Комната отдыха в женском крыле академии полна оживления и шума. Рабочие места заняты тараторящими младшеклассницами. Несколько девушек полулежат в мягких креслах и что-то черкают в тетрадках, ученицы из «альфа»-класса выстроились у кофейного автомата. От запаха кофе меня скручивает, и я спешу к коридору.

Вдоль лекционных залов и классов снуют ученики: кто еще сонный, проспавший первые три урока, а кто энергичный, точно под действием кофеина или иных бодрящих веществ. Тут же замечаю Эдриана Пули с широкой блаженной улыбкой на пол-лица и зрачками размером с пуговицу. Этот

вечно взлохмаченный парень не кто иной, как главный поставщик колес и прочих волшебных пилюль в Уэст-Ривере. Он давно носит прозвище Аптекарь: к нему обращаются за снадобьями, притупляющими мозги. Никто толком не знает, где именно он





умудряется доставать дурь при всей строгости и закрытости академии от социума. Я и сама однажды стучалась среди ночи в его дверь, чтобы... Впрочем, это дело ушедших дней, и нечего их ворошить. Все мы здесь полны пороков и запретных страстей.

Поворачиваю за угол и вдалеке вижу их. Даньел с лоснящейся темно-карамельной кожей и пышными локонами, собранными в хвост, а рядом — Мэй Лин, атлетичную и коротко стриженную. Они о чем-то щебечут и смеются, а затем замечают меня.

Холодный взгляд Даньел подобен удару хлыста, и я почти ощущаю, как тот рассекает лицо. Всем своим видом она шлет сигнал: меня не должно быть рядом с ней даже в одном коридоре. Она не желает дышать одним воздухом с той, кого нарекла своим злейшим врагом. А ведь когда-то мы держались за руки и клялись в вечной дружбе...

Тогда еще Даньел не знала горя, подобного моему, и сердце ее не было таким черствым, как сейчас; оно впустило меня и окружило любовью, наивной, детской и еще не отягощенной обидами. Да и откуда им было взяться, этим обидам? У Даньел было без малого все: огромный дом, любящие и успешные родители-предприниматели, восхищение сверстников и влюбленные взгляды мальчишек — хватай любого, кто понравится. Учеба давалась ей легко, без единого препятствия или проваленного экзамена. Даньел Лэнфорд — гордость, лицо Уэст-Ривера, так о ней отзывались учителя, единодушно сделав главной звездой академии.

Словом, в такой компании, как я, Дэнни не нуждалась, и все же именно *меня* она выбрала. Разбавила собой тоску по родным, которых я не могла ни увидеть, ни обнять...

Когда погибли мои родители, мне шел двенадцатый год. «Они разбились», — сообщили мне





полицейские в канун Рождества, чем навсегда отравили любимый праздник. С того момента он стал траурным днем, а я возненавидела Бога. Как он мог допустить такое, если я с раннего детства молилась перед сном каждый вечер? Я разуверилась в нем и три месяца кряду вместо молитв ежевечерне лила в подушку слезы, проклиная его.

Из всех живых родственников была лишь Мариетта Чейзвик, приходящаяся моему отцу сестрой. Но они с папой были не в ладах при его жизни (тетя даже решила сменить родовое имя Беккеров на псевдоним), и потому новость о предстоящем опекунстве тетю нисколько не обрадовала. До сих пор вспоминаю ее скривившееся лицо при встрече с сокопеккой, и делается тошно. Можно подумать, я светилась от радости, отправляясь к ней под крылышко! Ни огромное имение, ни розовый сад, ни кровать с балдахином не могли утешить моего горя и заставить полюбить женщину, которая даже не пыталась хоть сколь-нибудь полюбить меня. Или сделать вид, что я имею ценность чуть большую, чем недавно затушенная сигарета. Моя ценность приравнивалась исключительно к пеплу, серым ковром устилавшему ее хрустальную пепельницу. Даже своего весьма скромного наследства я не увижу до совершеннолетия, а значит, буду прикована к своей тетушке еще несколько лет, исполняя любое ее волеизъявление.

В Уэст-Ривер меня отправили тоже не из любви, а из желания подчеркнуть статус дома Мариетты Чейзвик. Тетя, привыкшая окружать себя роскошью, не допустила бы просчета, распоряжаясь моим будущим. Что же будут говорить, отправь она меня в захолустную школу где-нибудь в Хакни*? Тетю не смущала ни цена за обучение,



* Юго-восточный район Лондона, который считается одним из самых бедных и непривлекательных для жизни.



ни удаленность академии; ее заботили лишь рейтинг заведения и то, какие пытливые умы выпускались из ученых недр. Каждое решение произрастало из прагматичного расчета: лучше вложить в мою черепную коробку побольше «умностей», чтобы после я не села на шею, а обеспечила себе достойное будущее собственноручно. Уэст-Ривер показался мисс Чейзвик неплохим вариантом, чтобы впоследствии отослать меня подальше на полный пансион, и я вынужденно согласилась.

С похорон родителей прошло лишь несколько месяцев, и, переведясь в академию посреди последнего триместра, я ощущала себя пришибленной, потерянной и бесконечно чужой. Каменные своды Уэст-Ривера давили на меня и угнетали, а ученики казались особенно заносчивыми по сравнению с коллективом прежней, менее претенциозной школы. Пускай мисс Чейзвик известна и влиятельна в среде состоятельных граждан-небожителей, на мне лично это никак не отражалось. Мне не досталось ни крупницы ее статуса и покровительства, и уэстриверцы это чувствовали. Я выделялась, и, увы, не в лучшую сторону. Меня то и дело хотели задеть, растормошить, как будто от чьей-то встряски все порочное и «элитарное» могло вылезти наружу и помочь вписаться в круг золотой молодежи.

И только одной ученице я была интересна сама по себе. Только она разглядела во мне *меня*.

Как же далеки мы обе сейчас от тех версий нас, которые вспоминаются при взгляде на Даньел... Невинность, присущая детям, испарилась, коротко остриженные ногти отросли в опасные коготки. Нам стало слишком тесно вдвоем в стенах Уэст-Ривера, блистать могла лишь одна. Лучшие подруги превратились в охотницу и жертву.

Еще с мгновение Даньел хищно изучает меня и отворачивается, уходит в компании смеющейся





Мэй Лин на урок классической литературы. И я смотрю ей вслед без сожаления. Даже после стольких воинственных столкновений, попыток сломить мою волю я все еще сопротивляюсь и не раскаиваюсь в содеянном когда-то. Напротив, я истово верю, что непроходимый терновник между нами взращен не только из моего семечка, но и ее тоже.

Раздается звонок, и я иду в класс биологии, где сажусь за парту и отрываю клочок бумаги из блокнота. Пока учитель не видит, я пишу по памяти несколько стихотворных строчек Россетти — верной спутницы моей меланхолии. Она поможет сделать укол ощутимо больнее, напомнит Даньел припустить нимб.

Стыд — это тень греха.

И больше: стыд —

Кому-то честь и слава...

Или милость,

Коль от стыда лицо переменилось

*И вид его нам больше не претит...**

Эту игру придумала Даньел, впервые подкинув мне в библиотеке открытку с изображением картины Антониса Ван Дейка с Сатурном, обрезающим маленькому Амуру крылья.** Обратная сторона была пуста, но пояснения и ни к чему: даже ребенок догадался бы о сквозящей в картине угрозе. Столь явственный выпад в мою сторону я не могла оставить без внимания и с той поры повадилась отвечать на ее колкости своими, не менее изощренными, добавляющими в нашу игру



* Из цикла сонетов К. Россетти «Вторая жизнь» (пер. М. М. Лукашкиной).

** Речь идет о картине фламандского живописца А. Ван Дейка «Время обрезать крылья Амуру».



щепотку интеллектуального соревнования. Словно на фехтовальной дорожке, я билась, вооружившись истертым до дыр томиком Россетти, Дэнни — излюбленными стихами Дикинсон. Поэтический батл, очевидно, пришелся Дэнни по вкусу, — как она могла упустить шанс похвастать своими литературоведческими познаниями? — так что теперь мы обмениваемся отрывками, изобличающими наши слабости и червоточины. Извращенный вид боли, что приносит мазохистское наслаждение. Последняя связующая нить — и та исполнена яда.

Мои поддевки, бесспорно, раззадоривали ее, что было рискованно и опасно, но молча сносить еще и стихотворные нападки Даныэль я бы не смогла. Стихи Россетти, сочащиеся печальной иронией и тихой грустью, были моим единственным оружием на поле брани. Все, что я могла противопоставить врагу, не утратив жалких остатков достоинства.

Прячу клочок бумаги обратно в блокнот до поры до времени. Позже улучу момент и подброшу его в столовой или под дверь комнаты, как делаю на протяжении долгих месяцев нашей борьбы. И знаю, что Дэнни, как и много раз прежде, охотно ответит в своей манере, разбавив дикинсоновские четверостишья ударами под дых.



— Сегодня мы поговорим об инстинктах. Что есть инстинкт?

Рука мистера Марбэнка выводит черные буквы заглавной темы на электронной доске. Кабинет биологии на удивление тих, и причиной тому либо искренняя заинтересованность учащихся в предмете разговора, либо — что более вероятно — их потянуло в сон. Я же внутренне напрягаюсь, как будто во мне сжимается тугая пружина.





— Комплекс безусловных рефлексов в одинаковой степени движет зверем и человеком, уравнивая их в своей изначальной природе. Мы отдернем пальцы от горячего утюга, почувствуем себя неуютно в темной подворотне, подспудно предвосхищая угрозу. Мы прикроем лицо, когда нас захотят ударить, чтобы смягчить урон, как и травоядное животное не станет бродить там, где побирается хищник.

Невольно вспоминаются лица моих гарпий, скалящиеся, полные удовлетворения от проделанной пакости. Можно ли считать их ненависть инстинктивной реакцией на мои... прошлые провинности? Или их ненависть давно перешла все допустимые границы и перестала казаться объяснимой?

— Инстинкты наравне с рефлексами даны живым существам для выживания в большом и опасном мире. Но где же зарождается этот механизм, способствующий нашей с вами живучести? Давайте посмотрим...

Мистер Марбэнк чертит маркером на белой доске схему мозга, когда я слышу позади себя оклик:

— Эй, пс-с!

На биологии мне всегда особенно неуютно, потому что в соседнем ряду сидит Честер Филлипс, нынешний бойфренд Даньел, разбавляющий общество моих зловредных гарпий природным мужским обаянием.

Впрочем, чем шире бывала улыбка Честера, тем большей подлости следовало от него ожидать. Этот урок я давно усвоила. В то время как взгляды всех девчонок в классе с воодушевлением устремлялись к его персоне, я старалась даже не оборачиваться в его сторону.

Честер — типичный сынок богатеньких родителей, с холеной копной волнистых темно-русых волос и модной стрижкой, семейными запонками и безупречно выглаженными рубашками. Десяток





развеселых веснушек на носу придают его лицу некоторую детскость и предлагают наблюдателю обманчивую невинность: стоит только разозлить этого лиса, и пасть его тотчас же оскалится, готовая вонзиться в плоть. Наверное, потому Даньел и выбрала Честера — вдвоем они могут разорвать всех в клочья.

Сам Честер Филлипс почти не трогает меня, в пику ненавистным мне эриниям, но и их злодеяниям не препятствует. Даже не знаю, что хуже: наносить удары или стоять в сторонке и любоваться зрелищем? А именно это Честер любит более всего — стоять чуть поодаль и смотреть, как Даньел, Мэй и Сэйди истязают меня вместе и поодиночке, не давая выбраться из нескончаемого адового круга. И смотреть, надо признать, с истовым наслаждением, лелея глубоко запрятанные пороки.

Будто выступая прямым доказательством слов Марбэнка, я рефлекторно оборачиваюсь и встречаюсь взглядом с Честером. Он тянет мне руку и пытается что-то передать — я замечаю в его пальцах смятую записку. Какого черта?.. Наученная горьким опытом, я игнорирую его и отворачиваюсь, не желая больше смотреть злу в лицо.

Но Филлипс донельзя упряма, если желает кому-то насолить, и потому, пока мистер Марбэнк стоит к классу спиной, записка прилетает ко мне на стол.

С минуту я раздумываю, следует ли вообще знакомиться с посланием. Какой прок в тысячный раз читать оскорбления и глупые издевки, когда я могу перечислить их все наизусть, без запинки, как на экзамене? Вряд ли Филлипс чем-то удивит меня на сей раз, с фантазией у него обычно туго. Говорят, он страшно богат, но вместе с тем и страшно банален.

— Беатрис!





Шепот Честера ударяется о мою спину. Я оглядываюсь и читаю по его губам: «Прочти!» Закатив глаза, я все же подчиняюсь. Уже готовясь к новому обидному прозвищу или даже угрозе, незаметно разворачиваю записку и читаю содержимое:

«Встретимся в перерыве между физикой и французским в Аттическом коридоре. Я хочу поговорить о Даньел».

